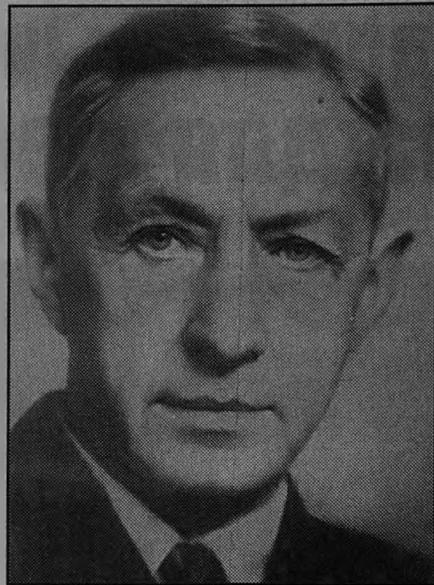


Закатная песня

К 125-летию Ивана Бунина

Андрей Немзер



сть у Бунина рассказ страшнее, чем «Чистый понедельник» и «Митина любовь». Это сочиненные еще в самом начале эмигрантского существования «Косцы».

«Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой мы все жили в то время, не вернется уже во веки».

Остановиться в цитировании трудно, почти невозможно. Четыре страницы хочется перепечатать слово за словом, буква за буквой. Совсем не потому, что это точно выстроенная проза — плохой у Бунина почти что и нет. Конечно, не из-за цветов, запахов и прочих фирменных переливов. И даже не для того, чтобы с особой торжественностью прозвучали колокольные строки финала — словно бы навсегда последние, всякое дальнейшее творчество (да и любое продолжение жизни) категорически исключаются.

«Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскающие звери, разлетелись вешие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел Божьему прощению».

Ошеломляет не чувство «исполнившегося конца» — постоянное у самых разных писателей, оказавшихся после революции на чужбине. И не контраст изобильного и счастливо свободного прошлого с выхолощенным, бездушным и в сущности бестелесным настоящим. Антитеза эта опять-таки почти обязательна не только у Бунина, но и у всякого русского изгнанника. (Да и у тех писателей, художников и мыслителей, что остались там, где когда-то находилась Россия, по их мнению, исчезнувшая вовсе.) Контраст мог по-разному интонироваться; диапазон велик: от скорбной покаянной констатации до взвизгнутого, безуспешно претендующего на цинизм злорадства. Контраст мог прятаться в подтекст. Избежать его не мог никто. Иван Шмелев совсем не похож на Георгия Иванова, но без постоянного напряжения его положения «вчерашнего» и «сегодняшнего», «живого» и «посмертного» жить и писать не могли (и не хотели) оба. Выходит, не в предсказуемой (хоть от того и не менее выстраданной) концовке сила и своеобразия бунинских «Косцов».

Дело тут в ином — в осознании национальной и собственной вины за случившуюся катастрофу. Точнее — в том, как именно звучит у Бунина этот мотив. Лучшие из жертв-свидетелей-судей революции не подходили на нынешних безграмотных самозванцев, неуклюже пытающихся «изобра-

зить из себя» законных наследников, хранителей памяти, «возродителей России». Люди, пережившие 1917 год и гражданскую войну, знали, что свершившееся свершилось не случайно и не по призракам чужеземных негодяев. Розанов, признающий в «Апокалипсисе...» страшную, оскорбительную шедринскую правоту, Волошин, восклицающий: «С Россией кончено... На последях...// Ее мы прогладели, проболтали...// Пролузгали, пропили, проплевали...// Замызгали на грязных площадях...// Распродали на улицах...», Блок, протрезвевший от огненно-выжогого соблазна «Двенадцати» и фиксирующий в дневниковых записях или почти дневниковых расползающихся поэтических строках возвращение «старого бреда», и многие, многие другие не ломали комедии, свидетельствуя: существует вина России и наша вина. Кто-то приходил к этому ужасу раньше, кто-то — позже, кто-то мог сочетать такое самоощущение с совсем иными чувствами, кто-то умел до поры о нем забывать. При этом несхожие «дети страшных лет России», как правило, стремились развести «дурное» (обусловившее немислимые беды) и «светлое». «Двойственными» неминуемо оказывались и Россия, и национальная история, и народ, и интеллигенция, и сам рефлектирующий. «Темное» (дикость, или бездеятельность, или отсутствие государственно-правовой культуры, или гипертрофия государственного инстинкта, или еще что-нибудь — столь же безусловное с виду и столь же сомнительное на поверку) одолело «светлое». Вот этого-то простого, человеческого столь понятного, кажется, абсолютно беспорочного решения в «Косцах» нет и в помине.

Свершившееся свершилось не потому, что рязанские мужики плохие, а потому что они чудо как хороши. Когда косцы едят «страшные своим дурманом грибомухоморы», автор не «обличает» их легкомысленную веру в «авось», а с изумлением признает непостижимую правоту тех, кто, посмеиваясь, приговаривает: «— Ничего, они сладкие, чистая курятина!» Потому как «из всяческих бед» выручали, «по вере его», русского человека, «птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Прелесть их песен «была связана со всем, что видели и чувствовали и мы, и они, эти рязанские косцы». Песня единила поющих и слушающих, людей и мир Божий, а ее чуть приметное лукавство не мешало этому единению, но делало его особенно крепким. «В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочтости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги».

Бунин — пел. Не только *после*, но и *до*. В его, казалось бы, однозначно безжалостном приговоре мужичьей страхолюдности

и барскому вырождению, в его блестящем презрении к яснее ясного прочерченным психологическим извивам самосострадающего и самообманывающегося человека, в его страсти к расстановке сюжетных точек, за которыми — полная беспросветность страшного ночного океана — коротко говоря, во всей его жесткой, «волчьей» (помните «Суходол»?) дореволюционной прозе прорывается та самая мелодия, которую Иван Алексеевич расслышал в пении рязанских косарей и вспомнил в парижском далеке. «Ты прости-прощай, родимая сторонущка!» — говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, только своей свободой, простором и сказочным богатством». Вот что гибельно, а не отменно ведомые Бунину, многаяды им воссозданные (да ведь и косцы жаловались-печаловались) рабство, скудодушие и нищета. Вполне, между прочим, реальные. (В России много чего было. И есть.) Никогда не способные вовсе выгнать *другое*. Даже в созданиях искусства — бунинское или случайно повстречавшихся ему певцов. Солнце красное закатилось за темные леса потому, что не могли в его заход поверить красивые, сильные и легкие сердцем люди. Того меньше — люди, с неразделимым сладким чувством испуга и вожделения глядящие *туда*, в ту сторону, где густая чернота пожирает золото и пурпур.

В маленьком рассказе Бунин сказал слишком много. И о нерасторжимой связи простого поющего народа с просвещенным «книжным» сословием. И о единстве собственного творчества. И о том, как мнимая безнадежность все-таки становится безнадежностью настоящей. В ночном океане, в удущающем влажном морозе сновидческого Востока, в самых темных аллеях больше света, чем в том «еще не утратившем густоты и свежести, еще полным цветом и запахов» березовом лесу.

После «Косцов» Бунин прожил еще тридцать два года (немногим меньше половины его писательского бытия), создал множество общепризнанных шедевров, получил Нобелевскую премию.